

ВОСПОМИНАНИЯ Н.А. МАЛЬКО ОБ И.И. СОЛЛЕРТИНСКОМ¹

После Великой Октябрьской социалистической революции я жил три года в Витебске, сравнительно небольшом городке Белоруссии. Первые годы после революции все масштабы были нарушены и перепутаны, и вот в Витебске, где в течение девяти веков все шло тихо и спокойно, по-провинциальному, вдруг закипела жизнь. В городе, где не было ни одной музыкальной школы, были основаны консерватория и пять музыкальных школ. В городе, где за девять веков был, кажется, один раз организован концерт оркестра, появился симфонический оркестр, который сыграл за первый сезон 22 концерта, а всего за два с половиной года — около 240 концертов.

Появились государственный хор, театральная студия и музыкальные клубы.

Подобное оживление было не только в музыке. Появилась художественная школа, где работали Марк Шагал, Мстислав Добужинский, «конструктивист» Малевич. Открылся университет.

Такому оживлению способствовали, с одной стороны, условия того периода государственной жизни, так называемого «военного коммунизма», а с другой — то, что в провинции в это время жить было сравнительно легче, чем в столицах. В обеих, столицах — Петербурге и Москве — жить становилось все труднее, было голодно и холодно, а в Витебске и хлеба, и топлива было больше.

Надо еще прибавить, что Витебск в это время находился недалеко от фронтов военных действий. (...) Воинские части постоянно приходили и уходили. Помню, как в течение одного дня в район города явились целых три армии. (...) Жизнь была ключом, и — вопреки известной пословице «среди оружия музы молчат» — искусство процветало.

Я помню первую годовщину Октябрьской революции, когда Витебск был украшен разноцветными флагами, плакатами, и кое-где на видных местах, очень высоко, были выставлены картины Марка Шагала. Жители Витебска с удивлением смотрели на изображенных там зеленых лошадей и на «летающего» еврея. Мирных провинциалов одинаково изумляли и цвет лошадей, и сюжеты картин, и поза рисованного над домами человека: ничего не указывало на то, что человек «летит». Жители пожимали плечами, вздыхали потихоньку и говорили: «Революционное искусство... когданибудь, может быть, поймет...»

Среди приехавших из столицы был философ и поэт Лев Пумянский, личность очень примечательная, и с ним его друг, 17-летний юноша Соллертинский. Соллертинский был высок, неуклюж, ходил всегда сгорбившись, у него были маленькие,

узкие глаза, говорил он порывисто, несладко, как-то глухо, однозвучно.

При знакомстве с ним сразу удивила страсть к учению. Официально он был тогда недоучка, не окончил школы (в то время это не было редкостью), но он очень много знал, интересовался решительно всем. Конечно, он постоянно проводил время в местной библиотеке. Служившие там барышни подшучивали над ним, он обижался.

Когда Пумянский позже уехал в Ленинград (тогда еще официально Петроград), Соллертинский изредка уезжал туда недели на две.

Встречаю его как-то на улице.

— Вернулись?

— Как видите.

— Что вы там делали?

— Работал в Публичной библиотеке.

— И только?

— Да. Я обычно брал с собой что-нибудь поесть, забирался в библиотеку часов в 10 утра и работал там до 9 вечера. Потом дома мы ели. Вы знаете, какая теперь пицца в Петербурге? Пшеничная каша с конопляным маслом, ужасный хлеб, иногда малосъедобная селедка, но это неважно. Затем я работал при свете коптилки до трех-четырех часов ночи.

— И так две недели?

— Да, я замечательно провел эти две недели.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Неокантианство. О, есть еще много, много, чему можно учиться.

И он в восторге неуклюже потрясал в воздухе обеими руками. Я не прибавил тут ни одного слова из нашего разговора. Может быть, Соллертинский несколько преувеличивал число часов. Сущность дела от этого не меняется.

Тогда в Витебске было много концертов. Соллертинский бывал всегда на всех. О музыке мы разговаривали очень мало. В музыке в то время он был только любителем. Однако я никогда не слыхал от него по поводу музыки ни единого дилетантского замечания. А сколько их приходится выслушивать от всяких любителей!..

Через несколько лет я встретил Соллертинского в Ленинграде. Внешность та же. И видно, что своею внешностью он совершенно не интересуется. За это время он успел окончить университет по германо-романскому отделению, по специальности испанского языка и литературы. Однако этим дело не ограничивалось. Он стал настоящим полиглотом. По его словам, он знал 32 языка. Если отбросить диалекты, которые он считал за языки, то все же оставалось около 25: санскрит, древнегреческий и

¹ Воспоминания публикуются по книге: Памяти И. И. Соллертинского. Воспоминания. Материалы. Исследования. 2-е изд. Л.: Советский композитор, 1978. С. 104-109.

латинский, хинди, древнеперсидский, немецкий, «все романские», как он выражался. Полагаю, что не все эти языки Соллертинский знал одинаково хорошо, но, по его словам, он мог без подготовки читать лекции на любом романском языке. Кроме языков Соллертинский знал психологию, обнаружил замечательные знания балета (впоследствии он писал серьезные научные книги о балете). Он с успехом стал заниматься публицистикой. Неожиданно я обнаружил в нем глубокое и всестороннее знание музыкальной литературы, причем он знал многих авторов, сочинения которых исполнялись в Ленинграде очень редко или никогда не исполнялись.

Конечно, возникал вопрос: «Как мог обыкновенный человек в короткое время усвоить всю эту массу сведений и впечатлений?» Ответом было то, что Иван Иванович Соллертинский обладал феноменальной, совершенно аномальной памятью. Его память не была только зрительной или слуховой, у него была, если можно так выразиться, всеобщая, изумительная память, которая составляла гармонически огромную часть его духовной сущности: он превосходно пользовался своей памятью, она не была у него, как иногда бывает, каким-то внешним придатком на духовном «теле» человека.

Например, в музыке он не только знал громадное количество музыкальных сочинений, знал, в сущности, наизусть, но у него всегда было к сочинению отчетливое критическое отношение, основанное, как это ни странно, на большом опыте. Этот человек мог внутренне пройти в год то, для чего другому понадобилось бы 20 лет.

Особой гордостью Соллертинского было знание наизусть всех симфоний Брукнера и Малера. Эти авторы до революции в России не исполнялись совершенно. После революции дирижеры-иностранцы изредка играли Брукнера и Малера, но, в общем, очень редко и не все симфонии.

Я не знаю, откуда у Соллертинского явилось знание этих авторов. Вероятно, из так называемого «Брукнер-Малеровского общества». Несколько молодых людей собирались дважды в месяц у одного из них и играли на двух роялях в восемь рук симфонии Брукнера и Малера. Обычно играли в вечер «тринадцать частей», то есть более двух симфоний. Когда я услышал об этом обществе, Соллертинский был его душой. Он, по его словам, дирижировал этим ансамблем, конечно, наизусть.

Однажды я начал играть на рояле в его присутствии «Песнь о земле» Малера. Соллертинский спросил: «Можно дирижировать?» И началось: «Здесь, я думаю, виолончели должны более выделяться, этот акцент у трубы...» — и так далее, и так далее. Я спросил: «Слышали вы когда-нибудь «Das Lied von der Erde» в оркестре?» — «Нет, но я видел партитуру». Для него «видеть» означало изучить.

Как-то, вернувшись домой, мы застали его у нас, он смотрел какой-то журнал. Жена машинально взяла лежащий перед ним журнал и тотчас протя-

нула назад, извинившись: «Вы ведь читаете его?» — «Нет, нет, я уже просмотрел эту статью, можете экзаменовать». И он повторил почти слово в слово статью в два столбца. Жена следила за текстом по журналу.

Когда иностранные дирижеры приезжали в Ленинград, Соллертинский мечтал о том, чтобы они сыграли Малера или Брукнера. Однажды, по его словам, он подошел к Клемпереру на улице, не будучи знаком с ним, и, полудураясь, сказал, что группа комсомольцев такого-то завода просит его дирижировать цикл симфоний Брукнера и Малера. «Se non e vero e ben trovato» (если и не правда, то хорошо придумано).

Клемперер быстро подружился с Соллертинским и буквально не мог без него обходиться во время своих пребываний в Ленинграде. В этом отношении Клемперер не был единственным среди дирижеров-иностранцев, приезжавших в Ленинград. Слухи о Соллертинском проникли в Западную Европу, и когда в Ленинграде появлялся какой-либо новый заграничный музыкант, дирижер или солист, он обычно спрашивал: «А где этот человек... с 50-ю языками?»

Сам Соллертинский препотешно рассказывал мне, как обычно после концерта его приглашают на ужин в частный дом и он оказывается за столом с новым гастролером. За столом ему, Соллертинскому, не противоречат, побаиваются его памяти, а когда все расходятся, иностранец обычно предлагает Соллертинскому «пройтись». Это «пройтись» продолжается разное время, судя по интересу беседы, иногда час, а иногда три.

Был в Ленинграде в мое отсутствие пианист Артур Шнабель. Позже я спрашиваю Соллертинского: «Ужинали с ним?»

- Конечно.
- Гуляли потом?
- Конечно.
- Долго?
- Да, часа два.
- О чем беседовали?
- О его сыновьях.
- Что они делают?
- Они ненавидят теорию Эйнштейна.

Соллертинский умел шутить. Умел и любил. Чувство юмора было в нем развито необычайно сильно. Часто это был только добродушный юмор. В Соллертинском было много сарказма, он любил издеваться, но в основе его издевательства (кроме тех случаев, когда он просто дурачился) было всегда убежденное мировоззрение, основанное на подлинном знании и вдумчивом, сознательном отношении к культурным ценностям. Для молодого человека эти качества покажутся неправдоподобными, но таков был Соллертинский.

Я познакомил Соллертинского с Шостаковичем. Они быстро подружились и стали необходимы один другому...